

Формула, введенная, чтобы вдовы и матери, узнававшие приговор, не падали в обморок, не устраивали истерик у окошек и в кабинетах, чтобы, вводя в вены родичам и друзьям приговоренных наркотик надежды, спускать на тормозах реакцию против повальных расстрелов. Родичи и друзья поняли — если поняли! — это гораздо позднее, когда десятилетие осталось позади. На исходе 30-х стандартный приговор воспринимался, как правило, буквально. Так понимала его в предвоенную пору и Л. Чуковская. И потому допустила возможность получения письма. Достроив на нем сюжет, позволила себе под занавес «литературу».

Говоря строго, исключать такую возможность полностью нет оснований. Когда, разведя пары, «И. С.» набрал скорость и под колеса состава попадали не десятки, а сотни тысяч (экономим слово «миллионы»), то кто же вправе отвергнуть случай, столько раз посрамлявший, бывало, и закон и закономерность? Их со счетов тоже не сбросишь. Предположим, что листок Николая дошел.

Однако пройдя свой первый круг, ставший, возможно, последним, Николай Липатов был обречен потерять долагерную наивность. Здесь же, в письме, еще чувствуется дотюремный мальчик, жалующийся матери (быть может, сосланной тоже в дальние края), что на одно ухо (после допросов Ершова) плохо теперь слышит... Той достоверности, которой с первых страниц покорила повесть, здесь, на мой вполне субъективный взгляд, недостает. И великое это счастье, что недостает такой тюремно-лагерной печати. Она появилась бы, пройди Л. Чуковская дорогами Николая Липатова.

Где, однако, гарантия, что в этом случае появилась бы повесть?

Придя к раздавленной страхом Кипарисовой, которой на завтра предстояло отправиться в ссылку, Софья Петровна вынуждена согласиться с ней: надо молчать. Не только жаловаться — даже думать нельзя, что следователь избивал Николая. Ведь Колю упекут подальше. Через кого он прислал письмо? Как доказать, что Ершов избивал?

Да, но сжечь-то Колино письмо для матери равносильно самосожжению. Отречению от сына и от себя самой. Отказу от последней надежды.

Безгранично горе матери, отдавшей сына войне. Безутешно горе матери, потерявшей сына из-за тяжелой болезни, стихийного бедствия. Погибни Николай на войне, от обвала в горах, сердечного приступа — Софье Петровне было бы легче...

В 1962 году «Софью Петровну» отверг «Новый мир». Естественно. Тогдашний лимит журнала приходилось экономить, как шагреновую кожу. В 1963 году «Советский писатель» отказался печатать принятую и одобренную «Софью Петровну» — приближались застойные времена...

Когда-то Корней Иванович Чуковский бросил шутивную и ставшую крылатой фразу: трудно войти в литературу, еще труднее в ней удержаться, самое трудное — в ней остаться. Переведенная на множество языков, «Софья Петровна» входит теперь в литературу родную, отечественную. И повесть в ней останется. Можно спорить, в каком качестве: литературного произведения или документа, — но в том, что останется, сомнений нет.

М. КОРАЛЛОВ.



## ТОГДА И ТЕПЕРЬ

Марк Щеглов. Любите людей. Статьи. Дневники. Письма. М. «Советский писатель». 1987. 511 стр.

**Ж**изнь была сурова к Марку Щеглову. С детства больной костным туберкулезом, на костылях, месяцами лежавший в больницах, он должен был заботиться о хлебе насущном: рано остался без отца, мать в военные и послевоенные годы через силу сводила концы с концами. Одаренный юноша завершил среднее образование, лет на пять отстав от сверстников. Поступил на заочное отделение филологического факультета МГУ и с великим трудом, преодолев бюрократические препоны, перевелся на дневное.

Его литературно-критические опыты пришлось на 1953—1956 годы — годы меж-

ду смертью Сталина и XX съездом. Переходное, противоречивое время. Отставший в юности М. Щеглов оказался впереди — среди тех, кто готовил перемены в общественном сознании. Но лишь несколько месяцев довелось ему прожить в своем времени. Он умер 2 сентября 1956 года тридцати лет от роду.

Трагическая человеческая судьба. И довольно счастливая судьба литературного наследия. Друзья Марка Щеглова доказали свою любовь к нему. В 1958 году вышло первое издание сборника его статей, в 1965-м второе, в 1971-м третье; в 1973 году опубликованы «Студенческие тетради»:



дневники, отдельные записи, избранные письма. И ныне критик, после смерти которого прошло времени больше, чем он прожил, снова оказался нужен. Составитель книги В. Лакшин подготовил «четвертое, и наиболее полное, издание избранных литературно-критических статей, дневников и писем М. А. Щеглова».

В своих суждениях, на редкость самостоятельных и отражающих внутреннюю борьбу, Щеглов-студент не всегда «совпадает» с младшими по возрасту одноклассниками, будущими критиками-«шестидесятниками». В период гонения на лучших советских композиторов он возмущается безграмотностью и беспринципностью «обличителей», выступающих от имени народа, защищает симфоническую музыку, но готов увидеть резон и в официальных оценках, исходя из собственного художественного вкуса: «Что касается советской оперы, все говоримое вполне верно. Здесь разорванный, схематический стиль неприятен, неестествен, раздражает, я, например, не в силах был сочувственно слушать «Войну и мир» Прокофьева — сплошные диссонирующие сочетания...» 14 января 1948 года он в дневнике ставит в один ряд Маяковского, Блока и Белого (тогда в отношении не только Белого, но и Блока это было ересью), а 27 января, отдавая должное лучшему у Пастернака, которого в ту пору усиленно шельмовали, заявляет: «В целом я его не приемлю. Неестественная усложненность поэтической ткани, за которой часто ничего нет, нарочитый профессионализм мышления, вечная мина «объевающегося рифмами всезнайки», обывательски-шуточная манера говорить о жизни». Но, возможно, это «головное», спор с собой: «Эдуард Багрицкий становится моим самым любимым, самым созвучным поэтом. И в сердце своем я оглушаю Пастернака Багрицким» (запись от 6 марта).

При всем том именно М. Щеглов стал предшественником новомирской критики 60-х годов, принеся с собой свежий взгляд и живое слово, когда для такой критики, как напоминает В. Лакшин, почти еще не было равноценного литературного материала.

Таким материалом могла бы стать (и становилась) для него классика. Но по темпераменту, стилю он был собственно критиком, а не литературоведом. Из «Студенческих тетрадей» не видно, чтобы этот аспирант много заботился о своей диссертации, посвященной Л. Толстому. Современность занимала его гораздо больше; так, статью «Особенности сатиры Льва Толстого» он начал фразой: «Интерес к художественной

сатире заметно усилился в нашей литературе» — и выпадом против могущественного официального критика Ермилова.

В 50-е годы многие классические имена не только не были канонизированы, но за них, словно за современных писателей, еще нужно было бороться даже после их разрешения. И Щеглов был в этом одним из зачинателей. Свою раннюю статью он дерзнул озаглавить «Гений Достоевского», хотя в духе времени здесь же обличал «реакционность» мессианских и иных воззрений этого гения. С такой же точки зрения интересен спор молодого критика с исследователем Блока и автором первой для того времени книги о поэте Вл. Орловым. Орлов одобрял постепенное «преодоление» Блоком «субъективности» и выше всего ставил «Скифов», где уже не видел ее следов. Щеглов формулирует вопрос ярче и точнее: «Не является ли это, напротив, гениальным гётевским расширением субъективности, вплоть до включения в область личных переживаний всех волнений, бурь, скорбей и прозябаний мира?»

Рецензируя двухтомник Есенина, разошедшийся в один день, Щеглов берет на себя защиту «подозрительного» поэта и, даже следуя тогдашнему правилу отмечать противоречия Есенина, старается нетривиально разобраться «в острейшем лирическом конфликте, который исключает привычку к падению, оправдание его, смакование ничтожества, «откола» от мира и беспросветности». Образ Есенина в рецензии не идеален, как во многих современных статьях, наоборот, важность его поэзии связывается с тем, что «там человек сгорел».

Свободно судивший о классике, Щеглов был тем более независим в отношении к писателям-современникам. В статье «Реализм современной драмы» он отметил нетребовательность критиков, писавших об А. Корнейчуке: «Как будто этому драматургу выдана на все времена некая индульгенция в защиту от критики!» Корнейчук был автором с положением, не только литературным. Нелицеприятный разбор его иллюстративно-декларативной пьесы «Крылья» можно назвать образцовым.

Щеглов критиковал «Персональное дело» А. Штейна: обвинение против героя шито белыми нитками, обвинитель примитивен, конфликт и завязывается и разрешается за сценой. «Но если спросить себя: а что, если бы Хлебников был кем-нибудь «попроще», менее заслуженным и известным человеком, что, если бы, как это часто бывает, окружающие его люди хоть в чем-то



поверили бы первому постановлению по «персональному делу» Хлебникова, а не собственному знанию о нем, что, если бы Полудин был не просто подлецом, а человеком, уверенным в своей «предназначенности» от имени партии решать судьбы рядовых членов партии?» И вывод: нет настоящей борьбы на сцене, «нет подлинно типических обстоятельств драмы, а конфликт так прост, что... похож на бесконфликтность». И это после того, как Щеглов отнес «Персональное дело» и ряд других критикуемых им пьес к лучшим из новых драматургических произведений (бойцовский темперамент не раз приводил критика к тому, что он, начав за здравие, кончал за упокой). В известном документе 1946 года по поводу кинофильма «Большая жизнь» говорилось, что у нас невозможно исключение честного секретаря парторганизации из партии. Даже спустя девять лет «Персональное дело» многие считали предельно смелым и правдивым произведением. Но Щеглов не был очарован такой смелостью.

Казалось бы, разбирая в 1954 году «Русский лес» Леонова, критик должен был радоваться: крупнейший современный писатель выступает против худшего в прошлом, да и не только в прошлом. Но к большому писателю у него и требования максималистские. Он находит надуманными многие положения в судьбе Поли и Сережи, считает их поведение слишком уж логически выстроенным. И своеобразно определяет соотношение достоинств и недостатков: «Эта художественно нереалистическая часть романа так резко отслаивается от ценной его части, что почти ей не вредит (при этом, однако, вредя роману в целом)». Теперь «Русский лес» занял видное место в истории советской литературы, стал хрестоматийным. Это не значит, правда, что и сейчас он не может показаться в чем-то тяжеловесным и сконструированным. М. Щеглов ошибся, недооценив основную идею романа (что, может быть, и понятно: до экологических катастроф было еще далеко), но при анализе стилистики романа он справедливо отстаивал приоритет жизни, воссоздаваемой в ее конкретности, перед сколь угодно высокой, но отвлеченной символикой.

Среди самых популярных писателей того времени был С. Антонов. Сейчас он относится к своей популярности 50—60-х годов «весьма критически» («Литературная газета», 17 июня 1987 года). М. Щеглов, отдавая ему должное, замечал: «...хотя в послевоенные годы тематика, связанная с жизнью деревни, занимала у нас в литературе, ве-

роятно, главное место, читатель будущих времен с трудом постигнет из наших книг, как же реально жила русская деревня в 1945—1953 годах...» Произведения С. Антонова — уже нечто новое, но критик видит, с каким трудом писатель избавляется от заданности и схематизма. В известной повести «Дело было в Пенькове» «наряду с правдивыми и поэтическими страницами... почти наглядно сказалось свойственное не одному Антонову противоречие между тем, что видит, замечает внимательное, чуткое к правде писательское «око», и тем облегченным «осознанием» вещей, которое, вопреки себе, вопреки правде, хочет предложить нам писатель». Свои утверждения Щеглов неизменно обосновывал тщательным анализом текстов.

Вместе с тем он не был критиком-эмпириком. Теоретически плодотворными мыслями насыщена статья «Реализм современной драмы». Например, говорится о том, что естественность сценического действия бывает результатом величайшей искусственности и условности. Здесь «фигуры, созданные авторским воображением, ожидают, действуют, произносятся как свои, естественно рожденные слова, текст, сочиненный «за сценой» художником слова». Подмечена действительно главная условность драмы, которая и по другим причинам является самым условным литературным родом, что показал в своих исследованиях теоретик драматургии, однокурсник Марка Щеглова В. Е. Хализев. Щеглов отметил также две разновидности антихудожественных упрощений языка пьес: во-первых, как бы стенографическую запись, невыразительные и необязательные диалоги и, во-вторых, так называемое заострение, когда персонаж «словечка в простоте не скажет», в каждом слове виден «тип».

Он вообще выступал против иллюстративности, подбирания образов к заранее готовым положениям, без обиняков сказано об этом и в письме Г. Троепольскому (май 1954 года), который, по мнению критика, от нее не свободен. Бич литературы того времени, иллюстративность, и сейчас процветает. И словно сегодня сделана запись 1955 года «О «хозяйском отношении» к литературе»: «Едва только литературный брак и непорядочность назовешь своим именем, как те, которые вчера еще готовы были «выжигать» и «выкорчевывать», те именно, от кого литература все время чувствует неудобства и опасения, теперь нежно голосуют за «хозяйское отношение»... к халтуре». Не потеряли актуальности и его отзывы о примитивном разоблачитель-



стве, выдаваемом за художественную сатиру. В начале 1954-го об авторах, превозносимых критикой за то, что они выводят в своих произведениях, например, отрицательного секретаря обкома; явись завтра критика секретаря крайкома — «и вчерашнее смелое обличение секретаря обкома будет забыто».

Состав сборника «Любите людей» в основном улучшен по сравнению с прежними изданиями Щеглова. Тут и дополненные «Студенческие тетради», и важная рецензия на очень неважный роман О. Черного «Опера Снегина», и суровая статья «Не радуясь, не скорбя (заметки о лирической поэзии)». В примечаниях перечисляются другие публикации Щеглова. А неопубликованные вещи? Известно, что Марк написал много внутренних рецензий. Уцелели ли они? Составитель не сообщает. Особо следует отметить отсутствие даже ссылки на рецензию «Правда жизни», которая была в издании 1971 года, — о повести В. Некрасова «В родном городе». Рецензия М. Щеглова должна была быть оставлена — по важности ее содержания, как и по важности самой книги, вошедшей в советскую литературу. В статье о «Русском лесе» Щеглов упрекнул писателя в том, что ему для окончательного развенчания Грацианского понадобилось связать его в юности с охранкой: «...удалось ли Л. Леонову изобразить обреченность не этого Грацианского-охранника, а того Грацианского — пореволюционного

мещанина, еще совсем не старого по возрасту, усвоившего марксистскую фразеологию и изучившего все уязвимые стороны нашего обихода, позволяющие ему делать карьеру, не считаясь ни с чем больше?»

У В. Некрасова («В родном городе») критик увидел новое решение этого вопроса: «Новизна образа Алексея Чекменя в повести В. Некрасова, по сравнению с его подобиями из других книг, в том, что до сих пор в роли демагога и прохвоста мы встречали, так сказать, замаскированных врагов. Алексей же Чекмень с искренней страстью говорит о своем партийном долге, он, по-видимому, до известной степени честно и храбро воевал. Но «в родном городе», в отношениях с советскими людьми — это жестокий и хитрый пустослов, не знающий другого способа руководства народом, кроме властвования над душами, демагогии и жесткой хватки». Это 1954 год. А в 70-е в «Вечном зове» Анатолия Иванова с нажимом подчеркнута связь отрицательного партработника районного масштаба Полипова с охранкой, связь, протянувшаяся через десятилетия, включая годы Великой Отечественной войны (спишем все наши беды на происки врагов!).

М. Щеглов не только в своем времени. Многие сейчас впервые открывают для себя это имя. И нужно, чтобы все существенное из сказанного им получило доступ к современным читателям.

С. КОРМИЛОВ.

### Политика и наука

#### СЛОВА И СМЫСЛЫ

Анатолий Стреляный. Стрельба влет. «Дружба народов», 1988, № 6.

Перелистаем вначале газетную подшивку. Заголовки: «О так называемых «планово-убыточных» предприятиях», «Когда в Новгороде наладится кооперативная торговля?», «В интересах потребителей», фельетон «Как бы чего не вышло»...

Из статьи о бюрократах: «Вырождающуюся породу представляют они. Она, эта порода, нет-нет да и заявит о своем существовании, заявит буржуазным индивидуализмом, чиновничьим произволом, барским рыком, великолепным барским жестом...»

И уж самая яркая примета времени — в выступлении президента АН СССР: «Наша задача теперь — возможно скорее и возможно эффективнее перестроиться».

Все это было напечатано в 1948 году. Год окончательной победы лысенковщины. Год

смерти А. А. Жданова (на снимке — Л. П. Берия в почетном карауле у гроба). Год, когда торжественно отмечалось десятилетие «Краткого курса истории ВКП(б)». В каждой газете непременно здравицы в честь «вождя народов, родного и любимого Великого Сталина». Тягостное время, запечатленное крикливыми, грубыми, серыми словами на пожелтевшей бумаге. Симбиоз безграмотности и лжи — разнузданной и, что самое мерзкое, агрессивной. Лжи, нагло выдающей себя за правду, за всю правду: «По уровню культуры советский народ не только догнал другие страны, кичившиеся своей цивилизацией, но и давно перегнал их...» Призыв к перестройке принадлежал С. И. Вавилову, брату загубленного при участии Лысенко Н. И. Вавилова, — Сергей Ива-